



Алесь Адамович

Хатынская повесть

ФТМ



Алесь Михайлович Адамович

Хатынская повесть

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=141573

Хатынская повесть: ФТМ; Москва; 2017
ISBN 978-5-4467-0091-2

Аннотация

«Хатынская повесть» известного белорусского писателя Алеся Адамовича – участника партизанского движения в Великой Отечественной войне в оккупированной Белоруссии – это талантливо воплощённая память войны, повесть-напоминание и повесть-предупреждение от того, кто пережил войну. Она учит человечество самой элементарной из истин – только не щадя своей жизни, можно отстоять свободу и победить врага. Повесть основана на документальном материале и входит в список обязательной литературы Министерства Образования Российской Федерации.

Алесь Адамович

Хатынская повесть

«В Белоруссии уничтожено более 9200 деревень, более чем в 600 из них убиты или сожжены почти все жители, спаслись единицы».

Из документов второй мировой войны

«Я выскочил из машины и начал пробираться между микрофонами.

– Лейтенант Келли! Вы действительно убили всех этих женщин и детей?

– Лейтенант Келли! Как себя чувствует человек, который убивает женщин и детей?

– Лейтенант Келли! Вы не жалеете, что не смогли убить большее количество женщин и детей?

– Лейтенант Келли! Если бы вы могли сегодня вернуться и снова убивать женщин и детей...»

Из «Исповеди» американского лейтенанта Уильяма Келли

«Не укладывается даже в мыслях, что на этой планете может быть война, несущая горе миллионам людей».

Обращение Георгия Добровольского, Владислава Волкова, Виктора Пацаева к людям Земли из космоса 22 июня 1971 года.

... – Тут уже целый взвод! – громко произносит человек в темных очках с белой металлической палкой в руке. Мальчик в голубом плащике, вскочивший в шумный автобус впе-

реди него, высматривает свободное место.

Человек в очках задержался у двери, слушает наступившую от его голоса тишину; глубокие дуги, скобки возле рта, лицо, суженное книзу, некрасиво заостренное, зато лоб очень широкий и, как у ребенка, выпуклый. Рот вздрагивает виноватой улыбкой слепого.

– Папа, там место, – говорит мальчик в прозрачном плащике и касается сразу вздрогнувшей ему навстречу руки.

Снова зашумел, закричал автобус, но недавняя внезапная тишина тоже осталась – как дно. Голоса, веселый крик слишком торопливые.

– Гайшун! Сюда, браток!

– К нам, Флёра.

– Сюда давай!

Человек с врезанной тихой улыбкой слепого кого-то дожидается. Металлическая палка сухо, пустотело звякнула: слепой задел стойку.

На ступеньку автобуса поставил мешок вспотевший мужчина в измятом суконном костюме.

– Это куда автобус?

– В Хатынь.

– Куда?

– В Хатынь.

– А! – неуверенно протянул хозяин суконного костюма, забирая мешок.

В дверях появилась женщина в цветастом летнем платье с

сумкой и плащом болоньей на загоревшей руке. Поднялась на ступеньку, смуглое лицо ее улыбается рядом с коротко остриженной, совершенно белой головой слепого.

– Глаша, к нам!

– Сюда садись, в третий взвод!

– Надоели вы ей в лесу! Верно, Глаша?

Женщина, произнеся негромкое «здравствуйте», коснулась локтя слепого, и он пошел через автобус. И сразу стала заметна связывающая их неторопливость, напряженная плавность, какая бывает у двоих, несущих одно полное ведро.

– Сюда, папка, тут место, – громко позвал мальчишка, который уже устроился спиной к кабине, по-детски положив ладони на сиденье по обе стороны от себя.

Очень моложавый и шумный пассажир приподнялся с места и схватил слепого за плечи.

– Флера, с моей посиди. А я с Глашей.

– Костя, – укоряюще сказала жена шумного пассажира, вся такая беленькая, приветливо улыбнувшись слепому, – не мешай человеку пройти. Какой же ты!..

Человек в темных очках привычно нес руку впереди; с ним здоровались, трогая худые пальцы, они чутко вздрагивали.

– Живем, Флера?

– Это кто? Ты, Стомма?

– Узнал? Я, братка, я это.

– А это чья голова?

– Рыжего. Помнишь такого? Подай голос, Рыжий.

– Покажись, – рука слепого вернулась назад, – покажись!

И правда – Рыжий!

– Здравствуйте, Гайшун. – Пассажир приподнялся, неловко, как детскую, пожал руку слепого.

Женщина, пока длится процедура узнавания, стоит за спиной мужа, она тоже улыбается, но ни на кого не смотрит, тогда как черные очки слепого внимательно всматриваются на каждый голос.

Руку слепого перехватил очень плотный пассажир с косящими глазами. Ремешок от фотоаппарата раздваивает его мягкое плечо, и весь он какой-то выпирающий, овальный в своем новеньком синем костюме.

– Не узнаешь Столетова?

– И ты тут? – удивился слепой.

– А где мне быть? – Столетов обиделся.

Но женщина уже провела Гайшуна дальше. Он задел колено грузного и даже в сидячем положении высокого человека, который, как переросток за партой, сидит вполоборота, загораживая проход.

– Здравствуйте, – негромко и очень спокойно сказал грузный пассажир. И повторил: – Здравствуйте, Флера.

От его голоса на какое-то мгновение снова открылась – как близкое дно – тишина.

Женщина с изменившимся сразу лицом схватила Гайшу-

на за плечи и быстро провела его вперед. Посадила и сама села лицом к кабине и спиной ко всем.

Мальчишка позвал:

– Тут лучше, папка.

– Вот и сиди! – оборвала его мать.

У кабины – лицом ко всем – удобнее сидеть было бы и грузному пассажиру. Но он тоже не сел там.

* * *

...Косач! Это его голос. Уверенно тихий: человек знает, привык, что его постараются услышать. Этот голос я различил бы и среди тысячи.

А какой сделалась Глашина рука – точно из-под машины меня выхватила!

Какой он теперь, Косач? Во всяком случае, не слепец, как ее муж.

Мотор и дребезжащее под сиденьем ведро заглушают общий разговор. Лишь самые резкие и самые веселые голоса долетают, случайно сцепляясь и переплетаясь. («В прошлом году... да уже внуки есть... бомба разорвется, облако взорвется... ну, Костя, какой же ты! Дай людям поговорить... я говорю, что косачевцы везде... нет, я ему скажу, нашему Летописцу, этому... Эй, Столетов!.. Экзамен сдает в иняз...»)

Нереально, невозможно близкие голоса из далекого-далекого прошлого затопляют автобус. Сегодняшние случайные

слова плавают поверху, как мусор, а знакомые голоса как бы помимо слов вливаются в меня, солоноватые, обжигающие...

Человек двадцать наших партизан. Некоторых я уже услышал, различаю: Косача, Костю-начштаба, Стомму, Рыжего, Столетова...

Костя, наш начштаба – все такой же мальчишеский голос, – вламывается сразу во все разговоры: хохочет, выкрикивает фамилии, клички, нарочито бессмысленные слова («Деда не забыли?.. Столетов, сними нас для истории. У тебя это здорово получается... Дед, ты у кого такую шляпу раздобыл?.. Мэнш!.. Не мешай, жонка!..»).

Да, он такой, наш Костя-начштаба, с ним и среди чистого поля будет тесно: каждого толкнет, обнимет и тут же осмеет. Не очень солидный для своей должности. Двадцать два или двадцать три ему... Было. Но его любят (любили): дело свое понимал, воевать умел. Не хуже Косача.

Косач тут, рядом. За спиной у меня. «Здравствуйте!..» – поздоровался сначала и с Глашей, но что-то прочел на лице Глаши и тут же отделил: «Здравствуйте, Флера!» Вон какая сделалась Глашина рука! Испуганная и твердая. Сидит рядом со мной, очень прямая, напрягшись, я и не вижу, а знаю.

Такой же он громадный, сильный? Голос, во всяком случае, тот же.

Мне всегда хотелось понять: замечает он сам или не замечает эту свою постоянную иронию, порой, казалось, непро-

извольную?

– Я ему прямо сказать могу! – голос откуда-то сзади. – Мы его, примачка, из-за печки вытащили, в партизаны силой приволокли, а теперь...

О ком это? И чей голос? Нервный, вспыльчивый. Хлопцы уже подзаводят человека, это у нас всегда умели.

– Секретарша не пустит.

– А ты по телефону ему. Верно, Зуенок? Или телеграммой.

Конечно же, это он, Зуенок. Наш главный хранитель партизанской геральдики. Зуенок всегда помнил, и очень точно, кто в каком году и даже в каком месяце пришел в партизаны. И кто какого уважения заслуживает. Всю семью Зуенка немцы выбили еще в сорок первом, когда он ушел в лес. Именно по его длинным и настойчивым письмам поставлены многие наши памятники. И этот, который мы едем открывать. Я впервые еду: когда мог, глаза были, встречи такие еще не практиковались. А Зуенку так даже доставалось за попытки собрать нас: «Какие такие встречи? Кому это нужно?»

– До ночи ползти будем с такой ездой! Я на своем хозвзводском быстрее поспевал.

– О, дед наш к самолетам привык!

Заехать заодно и в Хатынь, хотя это совсем не по дороге в партизанские края наши, – тоже инициатива Зуенка. Для меня это особенно важно – побывать в Хатыни. Хотя что я там увижу? Увижу не то, что там сейчас, а что было. Что оно

такое, наши Хатыни, я знаю. Это я знаю...

А хозвзводовский дед все беспокоится, поспеем ли в оба конца, не опоздаем ли. Сколько ему? Стариком он и тогда нам казался. Говорит, как горячую бульбочку ест: сипит, дует, крикает за каждым словом. И неуверенный смешок хлопотливого и добродушного крестьянина. Как-то сумел, собрал Зуенок всех нас, и городских и с района, в этот автобус.

– Ничего, – отзывается кто-то (кажется, Рыжий), – больше нас ждали.

У Рыжего даже ирония обнаружилась в голосе. Послевовенная, наверное. Раньше все над ним подшучивали, а он только посапывал облупившимся носом да обещал: «Вот как двину левой!»

– А какой хоть памятник, а, Зуенок? – спрашивают с заднего сиденья.

– Курган, школьники насыпали.

– А какой бы ты хотел себе? – кричит Костя-начштаба.

– Я что-то не подумал про это, когда ходили – помните? – по горящему болоту. Как на веревке ходили по кругу.

Мельтешат лица в моей памяти, тасуются, и ни одно не накладывается на этот голос с тихим покашливанием.

– Ребяткам все одно теперь. (Дед.)

– Все, да не все! (Стомма)

– Под таким, как в прошлом году, я не лег бы.

– Зуенок, учти пожелания! (Костя-начштаба)

– Нет, а помните Чертово Колено, как ходили по кругу по

дымному болоту? Рассказываешь – не верят люди!

Кто это горелое болото, Чертово Колено, вспоминает? Голос с таким знакомым, ласково-хитрым покашливанием. Ведмедь, он?..

Ну конечно же! Какой он теперь, без пулеметных лент через грудь и по поясу? Очень неудобно носить так патроны и непрактично: ржавеют, а в бою вытаскивай по одному, записывай в магазин, в патронник. Уже для той, для первой мировой войны придумана была удобная обойма: поставил в паз, надавил большим пальцем – и сразу пять патронов в винтовке. Но Ведмедь покорно таскал свое киноукрашение, а сам худенький, сутулый, в очках. Не возле девчат, конечно, его мысли вертелись, как у разбитных, украшенных оружием и ремнями разведчиков и адъютантов, а чтобы хоть покормили. Тетка сразу видела: человек воюет! А может, и тогда кино сидело в чахлой груди Ведмедя? Как-то пошли мы в кино-театр, начался фильм, и вдруг смешок по залу: «Лев... Ведмедь...» Глаша тихонько воскликнула: «Ой, Флера, наш Ведмедь Лева директор этой картины!» В кино я обычно с Сережей хожу. Мы заходим в помещение к самому началу сеанса, чтобы не мучилась публика недоумением, зачем незрячему кино.

Сначала Сережа шепотом объясняет, что там, на экране, пока не уловлю, куда авторы гнут, а потом уже я ему помогаю смотреть, слушая фильм, как радио. Некоторые фильмы будто для меня сделаны – все объяснено вслух, громко.

Но когда вдруг замирает зал перед онемевшим экраном – и только дыхание сотен людей, как перед вскриком во сне, – вот тогда включается, загорается мой экран. Под внезапные крики, выстрелы с их экрана я вижу свое. То, чего никто не видит...

* * *

... – А вы, дядя, тоже партизан? – пристает Сережа к Столетову, который перешел к кабине и теперь, я слышу, сидит напротив меня.

– Тут все партизаны, мальчик. – Вопрос Столетову не понравился. – А ты пионер?

– Конечно. – Сережа тоже возмутился.

– Не вывози дядю своими ботинками, – предупреждает Сережу Глаша. С того мгновения, как она увидела Косача, все в ней, я по голосу слышу, словно затвердело.

– Вы тоже косачевец? – добивается Сережа. Он если пристанет!..

– Э, не-е! – обрадовался вопросу Столетов. – Я из отряда имени Сталина.

Столетов теперь сидит лицом к Косачу, они видят друг друга. Или Столетов, по обыкновению, вверх косит? Глаза его странно косят – к небу, к потолку.

– И папка твой никакой не косачевец, а имени Сталина. Это одно и то же: по бумагам мы – отряд имени Сталина, а

в деревнях, наверное, и сейчас помнят косачевцев.

Довольно экзотичный экземпляр этот Столетов даже среди таких разных, как партизаны, людей.

Сначала, когда привели в наш Замошьевский лагерь нашкодившего инструктора онемечиваемых школ, который разъезжал по району с лекциями о «Гитлере-освободителе», это был рыхлый бледный человек с глазами, раскоряченными, как нам тогда показалось, от страха. Но не расстреляли, оставили в отряде (доказал, что снабдил десантников пишущей машинкой и еще чем-то канцелярским), и тогда мы поняли, что глаза у него такие от природы. От природы и очень согласные, как оказалось, с натурой столетовской.

На смену косящему испугу хлынул в Столетова, а из него на наши головы восторг, да такой, что хлопцы не знали, куда деваться. Подойдет неслышно, замороженным шагом, станет перед Рыжим, Зуенком или Ведмедем и смотрит влюбленно косящими к небу глазами. Точно головы их где-то там, в вершинах леса. Живыми на небо возносит!

– Ты чего? – удивился партизан с непривычки.

– Я?.. Ничего я... Может, обед вам тоже принести? Я иду на кухню.

– А что, принеси! Принеси, братка.

Вернулись однажды с какой-то операции, а Столетова не видно, нет ни в нашей землянке, ни поблизости. В лагере он, но нас вроде уже не замечает. Оказалось, Столетов уже штабная единица, писарь, а точнее, летописец. Убедил ко-

го-то приезжавшего из бригады, что совершенно необходимо писать историю наших отрядов. Фронт уже накатывается, другие бригады спохватятся, а у нас, пожалуйста, все готово.

Больше Столетов перед Ведмедем не вздыхал, косящие глаза его перенесли на других, нас они как-то уже не вбирали.

Странные и в самом деле глаза у этого человека. Будто мерку снимает: приставит тебя к чему-то невидимому, потянет слегка кверху, как портной вытягивает воротник, спинку, но в глазах его приговор, даже обида – э, не, не дотягиваешь! До истории, что ли? Еще раз потянет тебя кверху черными горящими (порой кажется – сумасшедшими) глазами, а в них улыбка. То-онкая-тонкая! Нас, мол, не обманешь... И уже окончательно вскинет глаза к небу, оставив тебя, как перед умчавшимся лифтом. Всякая фраза его вздергивается на дыбы восторженно-уличающим: «Э, не-е!» Скажи ему, что сейчас двенадцать, он тут же уличит: «Э, не-е! Без двух минут!»

Что там получилось из летописи бригады, неизвестно. Только из косачевского штаба он вдруг вылетел так же стремительно, как и попал туда. У Косача такие дела без задержки оформлялись, не помог Столетову и опекун бригадный.

Дошло до Косача (в деревнях пожаловались), что «какой-то косой ваш» дядьку избил, баб пугал винтовкой, кого-то к стенке примеривал.

– Мы тут воюем, – оправдывался Столетов, – а какой-ни-

будь сидит, бородой замаскировался, и, пожалуйста, освобождай его. Я бы не всех назад пускал.

– Воюем? – переспросил Косач. – Вот и повоюй. А историю потом сочинишь. А для начала на «губу» его!

«Историю» Столетов сочинил, да только совсем не ту... Соединились с армией. Одних – на фронт, других – хозяйство поднимать, и вдруг заминка с теми, кого работать в районе оставили. Столетовская папка всплыла, а в ней, оказывается, такое было написано (особенно про Косача, да и про других тоже), что, когда хлопцев вызывали, им не зачитывали вслух, а только пальцем по строчкам водили. Не решались своим голосом произносить фразы, будто бы слышанные Столетовым в нашем отряде. Что он там слышал, а что сочинил, трудно сказать. Партизаны действительно рассуждали (и порой очень горячо и открыто) о многом, о чем лишь после пятидесят третьего заговорили и стали писать. Возможно, и в штабе что-то слышал. Но он, кажется, перемышлячил: одна смертельная доза мышьяка – смертельна, а десять зараз, случается, лишь рвоту вызовут, моментально исторгнув себя из желудка. Не возвращать же пол-отряда с фронта! Кому-то неглупому попало дело. Столетову самому пришлось оправдываться, а заодно и за «Гитлера-освободителя». Долго о нашем Летописце не слышно было ничего, но вдруг стал объявляться: очерки по радио, статьи. Ожил! Издал даже брошюру про то, как геройствовали десантники (те, которым он передал пишущую машинку). Скоро и

на встречах стал появляться Столетов. Я не бывал на первых встречах, но слышал, что Столетов объявился, что снова восторг и влюбленность в косящих к небу глазах Летописца. Первое время, думаю, не церемонясь, напоминали ему про «историю» бригады, но похоже, что снова к нему стали привыкать. Отходчивы наши горячуны.

– Э, не-е, – тянет Столетов, как бы проверяя реакцию автобуса, – не-е, мальчик, мы с твоим папкой партизаны, а не какие-нибудь... («косачевцы» все же не произнес).

Уже песни поют, две или три одновременно.

Сережа долго не догадывался, что у него отец не такой, как у других. А когда дошло до его детского сердечка –глянул однажды и внезапно понял! – закричал, заплакал, точно в это мгновение со мной все и приключилось: «Кто тебя, папка, ты не бойся, скажи! Немцы, да, фашисты, да? Скажи, ты скажи!» Побежал в свой угол, схватил красную заводную мельницу и стал ее, громко плача, ломать, бросил об пол. Глаша и я убеждали его: игрушку делали другие немцы, совсем другие...

С того времени дня не проходило, чтобы Сережа не заговорил о моих «глазках». Мы с ним обсуждали план, как меня вылечат и я его, конопатого и черноглазого, увижу. Сережа неуверенно смеялся, когда я рассказывал, каким он предстанет передо мной и как я его не узнаю.

Первая операция – за три года до этого – была безрезультатной. Я решил снова, на вторую, ради Сережи. Они с

Глашей приходили ко мне в клинику, много говорили, Сережа возбужденно смеялся. Он был вполне уверен, что снимут повязку и я увижу его, все увижу снова. А потом меня увозили домой все с той же темнотой. Глаша тихонько плакала и гладила мою руку. Сережа сидел возле таксиста, впереди, и я его не слышал.

Больше о моих «глазках» Сережа никогда не заговаривал. Иногда по его дыханию, внезапно опавшему, я ощущаю, как страдальчески-изучающе он смотрит на мое лицо. Очень стали болеть глазные яблоки, они точно больше делаются, круглее. Мне даже предложили их вылущить, чтобы не болели, но я не согласился – тоже из-за Сережи.

Сегодня Сережа очень оживлен, весел: он едет в партизаны, кроме того, вокруг нас люди, которым не надо объяснять, кто его папка, наоборот, можно слушать, расспрашивать.

Мотор заглушает голоса в автобусе, мы едем лесом, но, когда деревья расступаются, открывается поле, я хорошо различаю голоса даже с задних сидений. И все стараюсь представить, кто как выглядит. Заставляю себя делать поправку на время – четверть века минуло, как я их видел.

Я и самого себя представляю лишь десятилетней давности, каким я был, когда в мире еще существовала такая вещь, как зеркало, а в зеркале – бледный узколицый человек с воспаленными веками, с побелевшими висками и глубокими дугами у рта, всегда удерживающими виноватую улыбку.

Глаша пошла за такого замуж, но она, наверное, в ка-

ком-то другом зеркале меня видела, не столь безжалостном. В ее памяти я связан с ее девичеством. С очень многим связан. Вот и с Косачем тоже. Однако как она его ненавидит! Или боится. Себя боится. Нет, это я боюсь. Трусливый и завистливый слепец! И неблагодарный.

Пока я еще был, как все (лишь время от времени начинали вдруг болеть, краснели глаза), жизнь с Глашей у нас не очень ладилась: то, что нас сблизило, то и разделяло, мучило. Наше совместное партизанство, Косач... Не говорили мы, не вспоминали вслух, но это присутствовало. А когда со мной случилось самое страшное (в течение полугода), Глашу как подменили – ее голос, ее руки, касания. И она сама захотела, чтобы родился Сережа.

И снова рядом Косач! Он у нас за спиной, всю дорогу за спиной. Глаша ни на миг не забывает этого, я чувствую. Вон как она напряженно молчит! Я сам настоял, чтобы ехать на эту встречу, когда Зуенок нам написал. Глаша не хотела, а мы с Сережей настаивали. Я – в отместку за все прежнее. Себе в отместку. Благодарность слепца...

* * *

В автобусе громкий веселый спор. Мне всегда легче, если люди вот так увлечены, и тогда не они меня, я наблюдаю.

– При нем и этот не рыпался, сидел в приемной как миленький. (Зуенок.)

– Во-во, один перед другим! (Дед.) У нас в селе был один...

– Суворов о Китае говорил... Вы знаете, что говорил Суворов? Спит – и слава богу: не будите себе на беду!

И он тут, Илья Ильич, наш комроты! Цыганская небольшая борода, обязательная книжка в кармане или в сумке... Где он брал те книги, одному богу известно: в деревнях уже последние библии докуривали!

– А я вам доложу, если еще не знаете (Костя-начштаба), ихнего тоже давно на свете нет. Для этого кучу малу – культурную революцию – придумали. И чтоб глаза не продрали, каждые семь лет – вали всех в кучу малу. Не верите – спросите Столетова!

– Это же Китай! – подхватил Илья Ильич. – Император, что Великую стену строил, объявил, что будет жить вечно. А потом взял да и помер. Целый год не хоронили, раз он так объявил. Посадили за ширму на трон, а чиновники, министры приходили и слушали, как он за ширмой молчит, угадывали его приказы. А запаха условились не слышать.

– Во! – воскликнул Костя-начштаба. – Не то что наш Столетов!

– А что! – Столетов отозвался, будто и в самом деле имеет к этому касательство. – Я не оправдываю, но так тоже нельзя: раз – и все яйца об пол! Э, не-е, так тоже не делают. Правду говорит Зуенок: при нем...

– Споем! – кричит уже Костя-начштаба и тут же начина-

ет: – «А какая встреча будет у вокзала в дни, когда победой кончится война!...»

Косач молчит, один он не втянут в шумный спор. Интересно, что он сказал бы и как, что он все эти немолчаливые годы думал.

Сразу после войны он работал в райисполкоме, потом его сделали директором торфозавода, потом – совхоза. Где сейчас, не знаю. И Глаша не знает. Плен, в котором он побывал, а возможно, и папка Столетова на нем все-таки висели. Да и он сам человек достаточно сложный, с неожиданностями. На партизанской встрече я впервые, но уже вижу (по разговорам, репликам, по его тяжелому молчанию), что к нему не очень бросаются. Ну а он – тем более. Общительным, компанейским он никогда не был, это не Костя-начштаба. Видимо, имеет значение и то, что в памяти нашей Косач связан со многим, что не располагает к веселой болтовне, запрятанно на самом доньшке памяти. Война есть война, но возле Кости-начштаба – это вполне партизанская, с шумом, анекдотами, с памятью о всяких казусах, война, возле же Косача вспоминается что-то другое, более резкое, заостренное... В Косаче нет этого нашего, косачевского, партизанского шика, лирики партизанской, которая в других с годами все разрастается. Он вот и на встречу едет как чужой. Со стороны кто-нибудь так и решил бы, что он единственный тут не косачевец!

Слышал я или читал, что людей, знавших друг друга в об-

стоятельствах особенно мучительных, унижительных, потом не очень тянет к встречам. Изредка – да, но не более того. Трудно, невозможно жить с постоянно вскрытой коробкой, где все это запрятано. Такие люди вряд ли дружат семьями. Я сам знал двух человек, переживших Освенцим в одном бараке. В коридоре пединститута, в курилке они встречались, иногда с подчеркнутой беззаботностью сверяли лагерные номера на руках («Я на 120 тысяч человек моложе тебя...»), но из их разговоров можно было понять, что даже не знают друг про друга, кто на какой улице живет.

Да что толковать, я вот и Сереже не все стал бы рассказывать (даже когда студентом сделается), хотя, кажется, прятать, стыдиться нам нечего. На своих студентах я и убедился, что есть вещи, которые невозможно сообщить другим, кто не испытал чего-либо подобного.

Услышали мои третьекурсники от кого-то про случай, когда командир во время блокады, среди немецких засад, чтоб не истребили отряд, будто бы пожертвовал ребенком, который все кричал на руках у матери. Пересказали мне возмущенно. Но и вопросительно: как я тут извернусь с моей «универсальной наукой психологией»? По их убеждению, после такого случая отряд обязательно распался бы: люди, предав, потеряв самую цель борьбы, возненавидели бы друг друга и самих себя, собственную жизнь, купленную такой ценой. Возмущаясь вместе с ними самой возможностью подобного случая, я все-таки не согласился, но кончилось бы именно

так. Напомнил про «защитный механизм» психики, без которого война вообще немыслима, непереносима была бы для человека...

Я не видел лиц моих студентов, но впервые почувствовал – в интонации одних, в молчании других – не просто несогласие, враждебность. Будто им сама слепота моя, мои черные очки неприятны, отвратительны. Нет, они не соглашались ни на какую «защитную реакцию», ставя себя на место того отряда!

И слава Богу! Хотя слишком многое в жизни повторяется, но правы все-таки они, не желающие в такое верить. Права весна, которая не хочет знать, что повторится и осень, и зима. Права юность, которая не верит, что у других начиналось вот так же. И благословенна река, начинающаяся чистой, светлой криничкой; даже если бы криничка знала, что низовья реки загажены, это не замутило бы ее. Реку можно очистить. Но это не имело бы никакого смысла, если бы не источали чистоту изначальная криничка, подземные ключи...

Да, а ведь моя первая партизанская любовь – вовсе не Глаша. И Глашу-то я полюбил отраженно от Косача. Косач! Мальчишеская, смешная, но с какими-то мечтаниями, фантазиями, обидами и радостями – иначе это и не назовешь как любовью.

Еще до того как пришел в отряд, слышался я: «Косачевцы, ого, не всякого возьмут к себе!», «Вооружены, как

десантники!», «У Косача одни кадровики, воевать умеют!», «Косачевцы бой ведут», «Косачевцы... косачевцы...».

Мечталось стать не просто партизаном (их немало проходило через нашу деревню), но обязательно косачевцем.

Оружие, без которого к ним и не просись, я добыл. А способ подсказал мне Федька Воробьиная Смерть – рябой, как воробьиное яйцо, сын колхозного бухгалтера. Ему было всего лишь четырнадцать, на два года моложе меня, и, чтобы свести на нет мое постоянное в этом преимущество, Федька все время выискивал, чем бы похвастаться. На этот раз он достал из дупла две гранаты-«лимонки» и показал мне, стоявшему под деревом:

– Что, видал, кум, солнце?

Меня это так поразило, что он не выдержал и решил меня доконать. Повел к болоту, из-под елового пня-выворотня вытащил завернутое в кусок брезента то, о чем я давно мечтал: ржавую, с подгнившим прикладом, но самую настоящую винтовку! Теперь и дураку было ясно, что мое превосходство над ним в два года – недоразумение и наглость.

– Ладно, – сказал Федька, подобрев, – у них такого добра много.

Я не понял.

– У покойничков, – пояснил Федька. – А что?

Я невольно посмотрел на свои сразу растопырившиеся пальцы, которые вдруг сделались липкие. Вот отчего дерево на винтовке такое черное, точно обгоревшее!

Назавтра мы отправились к могилам. Их много было в сосняке на песчаных горах. Тут зарывали в сорок первом. Где убит, там и похоронен, каждый в своем окопчике. (Бои у нас на Полесье гремели долго: уже Смоленск немцы забрали, а тут, в лесах, в болотах, их сдерживали бронепоезда и конница усатого Оки Городовикова, как в гражданскую.)

Желтые песчаные бугорки окопчиков-могил осели, их затянуло вереском, как маскировочной сеткой. Федька сел под куст, закурил.

Я стал перед ним с лопатами, готовый попросить: «Лучше не надо!»

– Ну? – спросил он хмуро.

Я не понял.

– Нанял ты меня? Арбайтен!

Я, наверное, покраснел.

– Дай! – он вырвал из рук лопату. – У покойника зубы не болят!

Желтый влажный песок, яркий, как свежая кровь, постепенно окружает нас, а мы все погружаемся в землю. Я вдруг выскочил наверх: показалось, что земля уходит, скользко поползла под босыми пятками.

– За водичкой побежал? – презрительно кричит Федька.

– Тесно... вдвоем, – поясняю, давась липкой слюной. Что-то черное выбросил Федька на желтый песок: как горелая бумага.

– Немецкий... пуговицы немецкие... Нет тут ни черта!

– Почему? – принуждаю себя интересоваться, хотя мне одного теперь хочется: уйти, убежать. Такое чувство, будто потерял что-то навсегда.

Как хозяйка картошку в ведре, Федька сечет лопатой в яме, отыскивая металлический звук.

– Я же говорю! В ихних не бывает, проверено. Своих они закапывали без оружия.

Деревянный какой-то звук громом отдается в моей черепной коробке. Федька взглянул на мое лицо.

– Помощничек! А ну засыпай! Нанял?

Отошел в сторонку и лег с закрытыми глазами, а я стал сыпать уже подсохший песок в яму.

Лишь в третьей яме лопата (не его, моя) звякнула. И тут я забыл про все.

Винтовка лежит на свежем песке, а мы стоим над ней. Металл от ржавчины желтый, как весенний курослеп, а дерево до угольной черноты напитано запахом и сыростью смерти.

– Бачишь, кум, солнце! – кричу я.

С этой винтовкой я и попросился к косачевцам. (Брезентовый ремень пришлось сменить.)

Начал не с мамы, зная, как ей трудно такое решать, а прямо с дела. Два раза ходили (и Федька с нами) телеграфные столбы спиливать. Знакомым ребятам-косачевцам за то, что брали нас с собой, заплатили патронами. И это было у Федьки припрятано. Но Федьку снова мучила зависть:

– Хорошо тебе, у тебя батки нету.

Но у меня была мама. Собрался с духом, призвал всю свою закоренелую безбоязненность двоечника и сообщил маме, что сын ее – партизан.

Сестрички мои, семилетние близнята, рассматривали внезапно объявившегося в их семье партизана с восторженным и жалеющим ожиданием: сейчас он будет плакать. Мама наша на ремень и даже на палку скорая. Потом сама плачет, но раньше поревешь ты.

На этот раз первая заплакала она. Тихо, беспомощно,глянув почему-то на плоские, как блюдечки, мордочки близнят, окинув взглядом стены, углы хаты, точно тут же надо убежать, все бросать.

Ушла на кухню, не проронив ни слова. Что-то делала там возле печки и плакала, а мы шепотом разговаривали.

– А тебе коня дадут?

– Сам добуду. У косачевцев сами все добывают.

– И нас покатаешь? Огород наш засеешь? А то мамке тяжело будет.

– Приеду и сделаю. Теперь вы – партизанская семья.

– Мамка плачет.

– Она всегда... Когда и папа на финскую уходил... Вы не помните, малые были.

Близнецы наши красавицами не считались, даже мама говорила с жалеющей улыбкой (когда обе рядышком, трудно не улыбаться):

– Господи, растут вековухи, мало одной, так надо, чтобы

две!

Я любил их плоские губастые личики, хоть часто и орал на них, как злой мужик, когда они пытались увязаться за нашей ребячьей компанией. Но в своем дворе мы были друзьями. Кого хочешь тронет это – сдвоенная покорная улыбка на добрых мордашках, сдвоенное уважение к старшему брату!

И вот теперь, когда мама заплакала и так посмотрела на них, на стены, я почувствовал себя виноватым. Впервые подумалось всерьез, чем все может кончиться. Теперь и не партизанской семье уцелеть, выжить нужно большое счастье, везение. А на партизанские у немцев охота круглый год.

– Давай пришью тебе батьков воротник. Залезь на чердак, принеси, – сказала мама, вернувшись от плиты к нам, сразу затихшим. – Все равно черт какой найдет да заберет. Или спалят.

Я бросился в сени, взлетел по лестнице. В тряпье возле лежака раскопал рукав от старой фуфайки, сильно пахнущий табаком. В рукаве наша единственная семейная ценность: каракулевый воротник, завернутый (от моли) в табачные листья.

Мама пришивает поблескивающий черными завитушками воротник к моему рыжему школьному пальто, а мы сидим возле нее, связанные тишиной, ожиданием. Мама зябко повела своими прямыми худыми плечами, я побежал и принес из шкафа старый теплый платок. Когда платок у нее на плечах, фигура мамы не такая резкая, и вся она становится

добрее, печальнее, задумчивее. Вот такая – под платком, в прохладном сумраке – она рассказывала нам про городское житье, про свою молодость, про отца. (Я – городской, а сестренки родились в деревне. Отец сам попросился работать в МТС, директорствовал до самой финской войны. А потом случилось что-то непонятное, ошеломившее – он оказался в плену. Было два письма откуда-то с севера уже перед новой войной.)

Мамин платок да каракулевый воротник, купленный отцом себе на пальто, – все, что оставалось от нашей «директорской» жизни. Городские вещи мы начали продавать еще до войны.

Кончила мама работу, оглядела мое пальто с роскошным воротником и даже улыбнулась:

– Как раз тебе пригодился.

Мы, обрадованные ее улыбкой, бросились примерять пальто: близнецы держали его, как шубу барину, а я на них покрикивал. Каракуль пропах табаком, точно его уже носили. Наверное, и маме то же самое почудилось:

– Папкиным табаком будешь пахнуть.

Я нарочито весело и громко втянул воздух, понюхал – испугался, что она снова заплачет. Сестрички тоже сунулись, а я велел им раньше вытереть носы, и они послушно вытерли.

Первые дни и недели в партизанском лагере были для меня сплошным праздником узнавания. Дисциплина в отряде была почти армейская, этим косачевцы гордились перед со-

седями. Но все равно это были партизаны – все у них с выдумкой, с веселой руганью, с патефоном, при котором одна на все настроения пластинка: «Брось сердиться, Маша». Эта «Маша» по-разному звучала, когда все хорошо было и когда убитых привозили и партизаны ходили по лагерю примолкшие, мрачные.

Очень любили мы посмотреть на себя со стороны – косачевцы! Однажды пойманный полицай стал рассказывать, как он прятался в погребе и оттуда слышал нашу атаку, что кричали, какие слова. Специально ходили послушать полицай, а он, поняв, что попал в точку, всю сочинял самые заковыристые ругательства в свой адрес.

Воевать весело – это считалось обязательным. Только новички про бой рассказывали серьезно, подробно, бывалые же косачевцы – как про забавные, почти нелепые приключения. Иной примчится, едва ноги унес, глаза – с яблоко каждый, а уже придумывает, ищет в случившемся смешное, точно с немцами в какую-то злую, но веселую игру играл. Не получилось, врезал немец – тоже смешно! И только когда убитых привезут, лучше не подходи, если тебя в том деле по какой-то причине не было. Окрысятся как на чужака. А вечером тихо поют песни или задумчиво слушают, как доверенный баритон уверяет Машу, что «жизнь прекрасна наша в солнечные дни».

Косача в отряде уважали, пожалуй, побаивались. Но и побаивались тоже очень по-партизански: мол, так и надо с на-

ми, не ходи, такой-сякой, босой, умеи вывернуться даже из-под Косача, если ты косачевец!

И все-таки чего-то в нем не понимали, это было заметно даже мне. Да, жесткий, слишком даже, зато смелый, и косачевец знает, что, раненного, его не бросят, как случается у других, а уж из засады сорваться, бежать без команды – такого у нас не бывает. Храбрый не побежит потому, что он храбрый, а трус потому, что он трус и знает, что судьбу его решать будет Косач.

Но эта его непонятная, ироничная ко всему – и плохому и хорошему – улыбка! Она всех и все обидно уравнивала: кажется, Косач видит, помнит тебя только в тот момент, когда ты у него перед глазами. И всякий раз как бы впервые замечает.

Впрочем, других это, возможно, мало озадачивало. Но я, я-то был влюблен!

Вот я стою на посту возле штабной землянки. Лагерь медленно засыпает, расседланные лошади под навесом звучно перебирают сухой клевер. Кто-то идет к штабу, гремя подмерзшими к вечеру прошлогодними листьями. В холодном сумраке узнаю крупную, в коротком колушке и ушанке фигуру Косача.

– Кто идет? – окликаю грозно, радуясь, что он слышит меня, мой партизанский окрик, но я стесняюсь немного. Ведь я узнал его и он знает, что я узнал его, вроде поиграть предлагаю. – Пароль! – требую уже потише.

А он идет на меня из темноты, молча, не сбавляя шага. Я клацаю затвором, но тут же говорю:

– Это вы, товарищ командир?

Как еще не закричал: «А, узнал, ага!»

Косач быстро подошел, презрительно, как палку, отвел в сторону мою винтовку.

– Почему не стрелял?

Игра так игра, вон какую мне предлагает!

– Я сразу узнал вас.

– Раз не остановился, не назвал пароля – бей!

– Я же...

– Не имеет значения. – Косач близко и внимательно взглянул в мое растерянное и обиженное лицо, усмехнулся: – Двое суток гауптвахты.

Наверное, чтобы уяснил, что война – игра всерьез, свирепая.

Но и тут косачевцы делали поправку на характер своего командира. Днем на гауптвахте действительно скверно, неудобно: нары из ольховых жердочек убираются, стой или сиди на корточках в промерзлой землянке, дыши в воротник, пропахший отцовским табаком... Зато ночью! Ночью у тебя все привилегии, подчеркнутая заботливость караульного взвода.

Интересно, рассказали Косачу хотя бы после войны, как кормили гауптвахту из их штабного котла?

Я сам в этом участвовал, когда выходило стоять на посту

возле кухни. Стоишь и знаешь, что скоро явятся. (Звяканье котелков вместо пароля.)

– Смотри хорошенько, если поставлен! – всхлипывает смешком какой-нибудь Рыжий или Зуенок, а у самого уже рукав закатан до локтя. Выхватывает из меньшего котла куски мяса, дует на пальцы, а ты, часовой, ему еще и котелки держи. Один – для гауптвахты.

* * *

...Косач сидит у меня за спиной тот же, но и совсем другой. Впрочем, я не знаю какой.

Что-то свое, хорошее и плохое, отдавали мы тогда этому человеку, что-то наше он нес в себе.

А сейчас свое отняли, забрали и он вроде тот, прежний, но уже и другой.

По-разному это люди переносят. Некоторые страшно удивились и обиделись: был хозяин над жизнью и смертью, а теперь каждый имеет право жить, будто тебя и не было над его волей, судьбой. Иной живет и все прикидывает: да вчера, да я мог, да тебя бы!..

Косач не кажется мне таким. Он умел командовать. Но не думаю, что весь был в этом. Его ироническая, порой даже неуместная улыбка – это какой-то взгляд со стороны на то, что он делал так умело и твердо. Пожалуй, счета у него были не с одними немцами, фашистами, но и еще с чем-то.

С самой войной, что ли? Не оттого ли он менее косачевец, чем все мы, не сближало его с людьми дело, которое он так точно и твердо делал. Да, мы ему отдавали что-то свое, нес он в себе и наше. Но не веселую отчаянность, как Костя-начштаба, а что-то совсем другое. Может быть, человеческую потребность мстить войне войной же. За то, что тебе с ней выпало спознаться.

Если я, конечно, не усложняю Косача. Но и упрощать его тоже нельзя.

Да и то сказать: теперешнего Косача я почти не знаю.

Всю дорогу он молчит. Вдвоем с Глашей молчат. Когда она его увидела, на лице ее, возможно, ничего не отразилось. Лицом люди учатся владеть, но рука скажет все – на моем плече была ее рука.

Я всегда считал себя уродом, даже когда глаза были. Будто может человек с глазами быть уродом. Впрочем, до встречи с Глашей меня это не очень занимало. А когда в отряд попал, так даже очень себе нравился. Винтовка, граната – партизан! Какой еще красоты от человека хотеть!

А потом глянула на этого партизана девочка, засмеялась на всю улицу – и все переменялось.

День тот выдался, как специально, сырой, холодный, грязный. Сено подо мной, которое я взял на залитом талой водой лугу, тоже было сырое, тяжелое. Лежа на высоком, ничем не стянутом возу, ехал я по деревенской улице, высматривая, в какой хате мне пообедать. И вдруг увидел Косача

верхом на сильном, злом жеребце, а за ним адъютант в ремнях и гусарских бакенбардах. Пока я любовался *нами, косачевцами*, незаметно и легко (мысленно, конечно) пересадив Женьку-адъютанта на свой воз, а сам вскочив на его коня, я совсем забыл про своего широкозадного Геринга, а он, фашистская морда, мне и подстроил. Внезапно я ощутил, что воз накренился, что скольжу, сползаю вместе с сеном, медленно и неотвратно – прямо в весеннюю лужу.

– Вали, суше будет! – крикнул Женька, хороня меня в глазах Косача, который сердито на нас оглянулся. А все мы оглянулись на громкий смех девочки. Я готов был убить и себя, и Геринга, и эту хохотунью, которой именно в этот момент обязательно надо было появиться. В огромные разбитые сапоги, как розовые свечи в подсвечник, воткнуты длинные ноги аистенка, в грациозно отставленной руке – грязное ведро, на другой руке – большая тяжелая рукавица из овчины. Собирает для свиней добро, что лошади теряют, а самой вон как весело!

Глаша любит вспоминать этот случай, особенно веселит ее мое тогдашнее возмущение тем, как по-балетному она держала свое ведро. Но, оказывается, рассмешил ее Женька, его гримасы и бакенбарды, а вовсе не я со своим возом.

Косач и Женька завернули в ее двор, они тоже решили передохнуть. А мне уже было не до того.

Жила Глаша с матерью, еще молодой статной женщиной, отца своего знала только по фотографии, на которой он во

весь рот смеялся. Откуда-то с Урала приходили от него алименты. А однажды прилетела еще одна фотография, на которой целая гроздь таких же, как у отца, улыбок: Вера, Надежда, Любовь – далекие Глашины сестрички по отцу.

В деревне Глашу и ее красавицу мать называли Глашкой-десятитысячницей, Ульяной-десятитысячницей. Случилось им везенье выиграть такую сумму на облигацию, даже в районной газете сообщалось про это. Вот тогда хозяина дома и завертело-закрутило, аж на Урал закинуло.

Нравился Глаше сначала не Косач, а Женька, «если бы только не такой рукастый». Они с Женькой ссорились, обливали друг друга водой, почти дрались и громко, сердито оправдывались, она – перед матерью, он – перед командиром: «Пусть сам (сама) не лезет!»

Летом сорок третьего года немцы взялись бомбить партизанские деревни. Глаша вдруг оказалась в нашем отряде. Ульяна упросила Косача, хотя у нас даже на кухне и в санчасти были почти исключительно мужчины. Мать Глаши справедливо рассудила, что в партизанском лагере все-таки безопасней, чем в семейном, куда она сама переселилась вместе со всей деревней.

Вначале возле кухни да в санчасти стали замечать коротковолосую узенькую, как линеечка, девушку, застенчиво рослую и быструю. Для своих семнадцати лет она была довольно высокая, но с такими узенькими плечами, смущенно тянувшимися кверху, такие у нее были радостные синие гла-

за, что порой она казалась совсем девочкой.

То, что пришло, пришло не сразу – после очередной «блоковки», блокады.

Блокада кончилась, мы снова начали замечать многое в мире. Из блокады люди обычно выходили, как после изнурительной болезни: ослабевшие, но невероятно жадные к тишине, сну, смеху, голосам, дневному свету. День снова становился днем, а ночь – ночью, луна уже не была похожа на осветительную ракету, а человеческие тени – на могильные ямы.

Вот тогда мы и обнаружили, что возле нас живет «командирша».

Прежний наш лагерь немцы разрушили, сожгли, жили мы уже в другом лесу, спали не в землянках, а прямо под деревьями или же в «райских шалашиках» – маленьких буданчиках из еловой коры.

Дневалишь под утро среди этого временного табора, окруженного зябко, стыдливо белеющими елями, с которых содрана, снята кора, и внезапно заметишь, как в крайнем от дороги буданчике покажутся из-под тулупа разутые ноги и тут же испуганно спрячутся. Голос Косача в буданчике неправдоподобно добродушный, а Глашин смех такой вдруг женский, глубокий.

Если Косач уезжал в эту пору, провожали его влюбленно-ревнивые взгляды, мой и Глашин. А однажды наши с нею взгляды встретились. Косач задумчивой трусцой про-

ехал мимо меня, я взглядом проводил его и оглянулся на буданчик. Глаша сидела, зябко обхватив тулуп на коленях, глаза ее, потеряв за деревьями Косача, наткнулись на дневального. Не знаю, что мой взгляд сказал ей: кажется – так и быть! – разрешал и ей любить командира. На лице ее мелькнул испуг, и она спряталась в буданчике.

Вставала «командирша» теперь позже всех. Но я понимал, что это от страха перед нами, перед нашими улыбочками, взглядами. Все, чего Косач, возможно, и не замечал, теснило ее вдвойне, как только наступали утро, день.

Вот проснулся наш лагерь: кашляют, смеются, закуривают, умываются желтой, как холодный чай, болотной водой. Кто сухарь грызет, кто высек кресалом или с кухни принес огонь и развлекается, спасается от комаров костерчиком, а кто оружие осматривает. Ночь кончилась, но день еще не начался – самое время громко перекликнуться с другом через весь лагерь, обсудить или обсмеять что-либо, кого-либо.

В командирском буданчике будто и нет никого. «Командирша» появляется перед нами уже одетая и причесанная. Сторонкой проходит к бочке с водой, беззвучно, точно разбудить кого-то боится, умывается под деревом. Чаще всего в аккуратных сапожках и сером немецком свитере, не закрывающем ее худенькой шеи, но вдруг появилось еще и черное платье – такое свободное на узеньких плечах, такое шелковое, нелепое. Ей хотелось перед нами быть как можно взрослее, а выглядела она в этом длинном платье еще беззащит-

нее. И особенно эта ровная и неприятная, какая-то чужая женская белизна, проступающая сквозь черный шелк!

Глаз не поднимает, губы сжаты, лицо заспанное и недружелюбное – «командирша»! Но кто-нибудь, кто постарше, добрее, окликнет ее или поздоровается – она вздрогнет, вся покраснеет испуганно-радостно, а узенькие приподнятые плечи так и ходят, борясь с неловкостью, смущением.

Но когда Косач в лагере, забывает она и про нас, и про себя. Видит только его. Как дрожит тень, ловя наступающий ее луч солнца (вот-вот посветлеет, растает в нем), так вспыхивала, светлела она, если поблизости был Косач.

Мы собираемся на операцию, общее построение отряда на заросшей мелким кустарником поляне. Все стоят, только мы, ездовые, сидим на тачанках. Высоко, нам все видно. Несколько комиссарских слов говорит перед строем Шардыко. Сколько помню его, всегда он ходил с перевязанной рукой или забинтованной головой: очень старательно отыскивали пули это маленькое подвижное тело. Костя-начштаба однажды объяснил, отчего так получается:

– Шустрый ты очень, комиссар. За всех везде поспеть хочешь. По дождю бежать – все капли соберешь: и свои, и не свои. Привык в колхозе – от окна к окну. Нет, пусть каждый свое сам знает!

Косач слушает комиссарову речь, опустив голову, о чем-то думая или просто дожидаясь, когда надо будет давать общую команду.

Глаша среди хозвзводовских и легкораненых ждет, я вижу, как она ждет его взгляда. (Я даже злился на него порой, так она ждала, а он сердито не замечал этого.) Наконец поднял голову и посмотрел в ее сторону. Неосторожно долго глядел, о чем-то своем думая. Перевел глаза на комиссара. Но было уже поздно: Глаша, как позванная, двинулась к середине поляны. И, как нарочно, на ней то самое платье — нелепо длинное, шелковое.

Весь отряд наблюдал за странным ее, лунатическим движением. Комиссар замолчал и неодобрительно взглянул на Косача. Костя-начштаба засмеялся, сказав что-то.

Я обмер, наблюдая, как Глаша идет к середине поляны, не замечая ни внезапной тишины, ни мрачного за усмешкой лица Косача. Но вдруг заметила, словно острого коснулась. Остановилась, огляделась в ужасе, как человек, обнаруживший себя на ушедшей от берега льдине. Косач отвернулся, а она побежала в лес.

Если я что и любил в ней в ту пору, то именно эту ее влюбленность в Косача. Отраженно, так сказать.

В детстве вот так же отраженно влюблен был в брата своей одноклассницы. Он был для меня живым слепком, повторением своей сестры. Те же глаза, тот же рот, а ты не робеешь — смотри, сколько твоей душе угодно. Мальчишки изводили безвольного и плаксивого сына приезжего учителя, а я опекал его, защищал. Он же, чувствуя мою непонятную от него зависимость, в свою очередь меня тиранил, капризничал. Но

это делало его еще более похожим на сестренку и еще больше привязывало меня к нему. С ним я мог как бы ненароком назвать имя той девочки, вслух произнести при всех, главное, вслух – в этом было все дело, особенная сладость.

Вот так, кажется, и Глашу вначале воспринимал. Почти так. Но она не замечала тайной, заговорщицкой доброты моей, опеки, нашего тройственного союза не замечала. До самой встречи на той поляне, где красные кузнечики разлетаются, брызжут из-под ног.

* * *

... Эти искры, эти быстрые точки на черном экране моей слепоты – иногда мне кажется, что это не осколочки боли, что они оттуда, с нашей поляны. На поляне я бывал и прежде, и не раз искал своего Геринга, но красных кузнечиков не замечал, хотя, конечно, они там были все лето.

А лето уже на исходе, влажный и теплый лес пропах грибами, черникой, жирной гнилью, как старый погреб. Постукивает дятел. Сначала почудится – далекий пулемет. Вслушаешься – нет, близко, дятел старается. Бой будет не сегодня, а только к утру. Непосредственный мой начальник Сашка сидит в лагере, смазывает пулемет, моя же забота – лошади, телега. Что-то серьезное, раз пойдут тачанки. В кустах через поляну вижу серую спину нашей пристяжной. Значит, и Геринг где-то здесь. Я занялся орехами. Их столько завя-

залось, что можно вслепую, на ощупь рвать: нагнешь ветку и комкаешь суховатые, покалывающие ладонь листья, пока не нащупаешь твердую тяжелую гроздь, гронку. От зеленой ореховой мякоти во рту кисло и прохладно...

Орешник сначала затащил меня в темную лесную чащу, а затем вывел, вытолкал на поляну уже в другом ее конце.

И тут я услышал плач: женский, потом детский...

Я уже вижу лежащую под дубом Глашу, ее вздрагивающую под черным шелком узенькую спину, а сам все недоумеваю: но где же плачущий ребенок? И тут ее глухое женское рыдание перешло в детское всхлипывание. Лежит под дубом на жестких, выпирающих из земли корнях-ребрах женщина в длинном шелковом платье и захлебывается детскими слезами. Сапожки поставлены у изголовья, и на них аккуратно развешены, сушатся портянки. А босые ноги сердито вздрагивают от комариных или муравьиных укусов.

Глаза мои жадно и испуганно рассматривали женскую белизну, мертвенно проявленную черным шелком. Глаша вдруг села, поджав ноги, и схватила сапожки.

– А, это ты... – сказала, точно всего лишь Геринг из кустов выломился.

– Коня ищу, – объяснил я свое существование на свете. Как аккуратно сапожки стояли возле нее, плачущей!

Уже после войны Глаша вспоминала: «Иду через весь лагерь, разговариваю, если кто затронет, смеюсь, хохочу, но сама *иду плакать*. Уже лагерь позади, никто меня не видит,

но я все не плачу, спешу на свою поляну, к дубу. Добежала, стаскиваю сапоги, устраиваюсь, портянки развешиваю просушить – все, теперь удобно, хорошо! – и, наконец, даю волю слезам, долго удерживаемым, а потому сладким».

* * *

То, что испуганная, заплаканная Глаша почти дурнушка – губы распухли, глаза потухшие, сердитые, – меня очень трогает. Точно ради меня подурнела, потускнела специально, чтобы мне проще было с нею, легче. Благодарный за такую щедрую, добрую ее некрасивость (даже носом хлюпает, как пацан), я стою, не ухожу, развлекаю ее соображениями насчет завтрашнего боя. Значит, крупный гарнизон, раз мы с тачанками идем! Это хорошо, что силу покажем. Давно про блокаду новую поговаривают (осень, за урожаем полезут), а отряд наш на самом выступе партизанской зоны. Надо раздвинуть этот выступ, и вообще засиделись...

– Я не хожу на операции, – говорит Глаша, не дослушав моих рассуждений, – я же командирша!

Смотрит, точно это я обозвал ее так.

– Ну и дураки!

Я охотно согласился. Само собой, ясное дело...

– Ну и можете целоваться со своим командиром. А у меня будет ребеночек. Хоть тресните все от злости!

Я испуганно покосился, точно это сейчас произойдет.

Что-то во мне такое, в долговязой и вялой моей фигуре, благодаря чему Глаша меня совсем не стесняется.

– И правильно, – радуюсь я, – это вы здорово придумали. Война закончится, а у вас...

Я мог бы сказать «у нас»: я охотно принимал ее к *нам*, в тот фантастический мир, где мы с Косачем задушевные друзья и нам Глаша не помеха.

– «Здорово придумали!» – передразнила Глаша мой восторг. – Дурачок ты.

Но смотрит так, точно просит еще раз повторить мою глупость. А я на это скор:

– Будешь мама!

Словом этим я как ударил ее: вдруг мучительно покраснела, отвернулась, схватилась обувать сапоги.

– Да, командир наш, конечно... – волоку я и подаю Глаше кончик оборванного разговора. – Война пройдет...

– Думаешь, я не знаю, что у вас в каждой деревне по «теще»?

И снова – как ударилась ушибленным местом, даже застонала. Поднялась и пошла через поляну. А я все никак не могу оставить этот разговор, по-дурацки волоку его следом за нею, говорю, говорю. Глаша молчит почти враждебно, и я тоже замолкаю наконец.

Она впереди, я шагаю в десяти сзади, идем меж старых, осевших штабелей. Теплая кислая гниль щекочет ноздри. До войны тут заготавливали дрова. Березовые, осиновые, гра-

бовые плахи догнивают, слежавшиеся, слипшиеся, облитые мыльной пеной.

Меж штабелей толстый ковер из молодого, плотного, стелющегося грабняка. Брось камень – подскочит, как на резине. Глаша ступает медленно, задумчиво. Грабняк такой плотный, что приходится балансировать на одной ноге, отыскивая местечко, куда поставить другую, и от этой, наверное, позы ей делается все веселее. Опять балет, как тогда с ведром.

– Смотри, розовое! – говорит про зубчатолистый стелющийся грабняк. И правда, весь обрызган краснотой. В накалившейся сухой тени этого зелено-румяного ковра прячутся кузнечики лесные. Целый костер их взлетает из-под наших ног, пролетев, падают на зубчатые листья с сухим звуком и тут же гаснут. На моей ладони лесной кузнечик, как дотлевающий, подернутый серым пеплом уголек. Глаша забрала его, посадила на свою забавную узкую руку. Позволила ему выстрелиться и смотрит, как вспыхнул искрой и погас на зелено-розовых листьях.

Я стал вслух соображать, что, возможно, они приспособиваются. Война, пожары – вон сколько все это тянется, уже и не надеются, что кончится. Мы и сами думали – раз, и все!

– Они, может, один день живут, – возразила Глаша, – что они помнят!

Тогда я стал за них огорчаться: вдруг в дождливый день родился, только тучи и увидишь! Даже не будешь знать, что

небо бывает чистое, синее-синее...

Глаша поймала мой вороватый взгляд, смотрит насмешливо-поощряюще, точно я не подумал лишь, а вслух сказал про ее глаза. Отвернулась, засмеялась:

– Какой ты смешной! Особенно на тачанке своей. Немцы от смеха мрут.

(Вот что в Глаше меня особенно поражало тогда. Бывало, окружают ее хлопцы, посмеиваются друг над другом, над нею, а она, как тонкий стебель на ветру: длинные руки, вся ее пряменькая фигурка по-девичьи вырываются из-под наших взглядов, вздернутые плечи так и ходят – какой-то восточный танец смущения.

Но синие глаза неожиданно смелые, смеющиеся. В них радостное сознание силы, которая собрала и держит нас возле нее, женской власти над нами.

В Глаше и потом это оставалось: девичья неловкость, смущенность движений и смелость синих, знающих свою силу глаз.)

Почти тридцать лет до той зелено-розовой поляны. Но сколько раз я возвращался туда. В снах... От красного дождя кузнечиков вдруг начинает тлеть земля, мы с Глашей растерянно оглядываемся, не зная, куда поставить ногу, а потом бежим назад, а над нами, гремя, как поезд по мосту, катится по вершинам леса волна огня, обсыпая нас горячими искрами... Проснешься – долго не можешь понять, откуда и куда ты вернулся, все силишься открыть глаза...

Когда человек теряет зрение, первый ужас – не можешь открыть глаза, все силишься, а не можешь. Это состояние без конца повторяется в снах. И одновременно другое мучение: закрыть тоже не можешь. Навсегда открыт, один на один с миром! И с самим собой, со своей памятью...

Я иду след в след за Глашей, смотрю, как из-под ее сапожек и моих негнущихся сапог выстреливаются вспыхивающие и гаснущие искры, слушаю жесткий звук листьев, и сам я – как звучный, легкий, веселый барабан. И я знаю, что бой (и, может быть, ранение, смерть) будет только утром – целая вечность впереди!

– А что это за имя – Флера? – спрашивает Глаша, обернувшись так, чтобы самой стоять, а ее взрослое платье еще двигалось бы вокруг ног. Ноги у нее длинные, прямые, и это с платьем у нее хорошо получается.

Я сообщаю, что значит «Флера» (читал в календаре).

– Цветок? – Глаша смеется. Я тоже смеюсь. Ничего себе цветок: с этими обезьяньими дугами у растянутого улыбкой рта, в этом мешковатом немецком мундире с отвисающими штанами, который я выменял у разведчиков на свое домашнее пальто. – Дай я выстрелю. – Глаша уже смотрит на мою винтовку.

– Тут запрещено, – весело предупреждаю я, снимая с плеча винтовку, – приказ Косача.

Имя это прозвучало вдруг незнакомо, как бы даже с издевкой, и я, точно споря, сказал скучным голосом:

– И правильно. Скоро в лагере будут пулять.

Глаша не слушает, оставила мне одному возможные неприятности. Целится в дерево понизу. Я быстро приподнял ствол винтовки.

– Прижми к плечу, – взял за плечо и локоть, чтобы показать, как надо. И словно ожегся о скользкость шелка.

– Я сама.

Повела винтовкой, как зениткой, и наконец выстрелила. Вернула мне винтовку, засмеялась.

– Бедный, опять на гауптвахту.

– Это еще надо доказать.

Я уселся на пенек, вытащил шомпол, поискал в своей сумке от противогаза бутылочку с маслом.

– А как ты нашел поляну? – Глаша прогуливается передо мной, сбивая ногой мухоморы, которые восторженно пылают среди серо-зеленых осин.

– Как-как? Трудно разве?

Она столько раз, наверное, бегала сюда плакать, что считала поляну своей тайной.

Вечером мы уходили из лагеря, чтобы к утру окружить гарнизон. Какой, узнаем на месте. Но от этого еще сильнее то сдвоенное чувство, с каким обычно собираешься, идешь на боевую операцию. Ты и кто-то там (еще не знаешь, где и кто) уже связаны – вам убивать друг друга. И оттого, что ты знаешь про это, а он еще нет, ты и за него представляешь: как услышит первые удары выстрелов, как испуганно вскочит...

Тебе самому так знакомы и эти оглушительные, как удар в дверь, первые выстрелы и странное чувство облегчения перед наступившей наконец опасностью: «Вот оно!...»

Когда отряд, выстроившись, слушал комиссара, я снова сидел высоко на тачанке позади своего взвода и смотрел, ждал, как Глаша подойдет к Косачу. Но он сам подъехал на лошади к тем, кто толпился у края поляны. Что-то говорил, а у нее лицо было влюбленно-бледное.

* * *

...Совсем затих наш автобус, дрема придавила даже Костю-начштаба. Один мой Сережа не умолкает: старательно рассказывает, что сейчас за окном, мимо чего проезжаем. Вдруг засмеялся, воскликнул:

– Ой, папка, а в твоих очках все поперек движется... Ой, заяц, заяц! В клевере, смотрите!

– Э, не-е, в гречихе, – прозвучало в сонной тишине.

* * *

...В том бою меня контузило. Отряд наступал на железнодорожную станцию со стороны речушки и луга, поросших кустиками березы и ольхи. Долго дожидались рассвета, прячась в ложе речушки, туда же нашу тачанку спустили. Ровно

в пять без стрельбы бросились к огородам, над которыми, словно крепостная башня, темнела кирпичная водокачка.

Наш ротный, Илья Ильич, перед самой атакой предупредил:

– Держите каланчу под прицелом. Жлоб буду, если там не сидит с пулеметом! Вот, пусть побудет с вами.

И кинул нам на телегу книжицу Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Мы повернули лошадей так, чтобы невысокий берег закрывал, прятал хотя бы их, и остались один на один с башней.

Уже застучали выстрелы – бой начался. Плывущая в пред-рассветном тумане башня внезапно заиграла, задразнилась красным язычком – пулемет! Сашка сразу завязал с нею дуэль. Сначала немец нас игнорировал, бил по наступающим. А Сашка никак не мог хорошенько приноровиться, приказывал мне то так, то этак повернуть лошадей. Наш «люйс», высокий, как велосипед, закреплен на станке от «максима» – не очень удобный гибрид: ни лежать за таким, ни сидеть, разве что по-турецки. И щита у нас никакого. Наконец Сашка приспособился, и «люйс» загундосил басовито, по-бульдोजьи. Прожевал всю ленту – плоскую вафлю. Я подал новую, помог вставить в окошко-прорезь. И тут нас достало, но пока что сзади, по воде, словно камешки сыпанули. Сашка снова «натравил бульдога» (мы так называли свою стрельбу), я держу наготове еще одну полуметровую ленту на ладонях,

как официант. Больше мне делать нечего, разве что считать камешки на воде, танцующие вокруг нас. Вдруг появилась на воде красная змейка, неторопливая, гибкая, все удлиняющаяся... Не сразу сообразил, что это кровь. Быстро (мысленно) ошупал себя всего. На Сашке тоже ничего не заметно. Лошади стоят спокойно-безразличные, но Геринг все опускает хвост к воде, как бы ловит губами красную змейку. А она все растягивается, изгибается по течению и не может оторваться, уплыть от нас.

– Быстрее! – кричит Саша. – Быстрее! Пришьет он нас.

Стрельба то нарастает, то вдруг спадает, но уже ясно, что случилось самое паршивое: мы их не смяли с налету, теперь все зависит от боеприпасов и времени, у кого больше. У нас меньше и того и другого.

На огородах мины ложатся одна на одну, нам видны черные верхушки взрывов. Топчут, втаптывают залегшие там цепи, просто стонать хочется. Сашка снова пустил трассу пуль в черное окошечко башни, которая с каждой минутой все больше открывается, из темной делается кирпично-красной.

Сразу ощутили – есть, достал немца!

– Давай еще одну! – кричит Сашка и от удовольствия локтем, рукавом трет свой вспотевший веснушчатый нос и стриженую лишаистую голову. – Я его доколочу.

Я показал четыре пальца – столько лент осталось в ящиках. Бухая по воде, кто-то бежит за кустами. Адьютант Ко-

сача.

– Вы что тут?! Командир приказал туда, на тот край... к лесу... на фланг! Давай быстрее!

Но «наш» немец снова ожил – осыпанный камешками Женька припал к телеге у моих ног.

– А это видал? – заорал на него Сашка. Он добрый-добрый, а заводится с пол-оборота. Он у нас старый партизан, вместе с Косачем пришел в отряд, было время нервы измочалить! Снова нажал на гашетку, «бульдог» гулко и четко отсчитал десять патронов, почти пол-ленты прожевал.

Я показал Женьке, что у нас мало патронов.

– Давай! Косач приказал, – не взглянув даже, крикнул он и побежал. А немец снова сыпанул, слышно, как ударило в колесо прямо под нами.

– Ладно, поехали, раз приказывают! – кричит Сашка.

Перезаряжали пулемет, когда налетел Косач. Это был уже Косач.

– Вы что? В небо? Ах вы!..

Никогда я не видел так близко это крупное и в то же время резкое лицо. Резким его делают две глубокие, как шрамы, борозды, падающие по щекам от глаз к подбородку. И глаза. Особенно глаза, яростные и все равно усмехающиеся, беспощадно увидевшие меня, наконец именно меня увидевшие, признавшие.

– А ну вверх!

Не слыша, не понимая, что они, Косач и Сашка, кричат

друг другу и что делают, почему рвут друг у друга ручку пулемета, я бросился к лошадям с каким-то восторженным чувством непоправимости происшедшего и готовности делать что-то последнее, страшное, чем лишь и можно исправить случившееся. Я тащил за морды коней. У Геринга ухо разорвано пулей (вот откуда та красная змейка), кровь заливает его безумеющие глаза, пенящиеся ноздри, окрасила мне руки, зеленые рукава немецкого мундира. Резко выдернув тачанку из воды на берег, я оторвал от нее, от пулемета, Сашку и Косача, и они точно опомнились. (Уже потом, перебирая все в памяти, я сообразил, что Косач яростно и презрительно сталкивал Сашку, хватался сам за пулемет, а Сашка, матерясь и почти плача, не давался.) Наконец Сашка оттолкнул Косача. Вбежав на берег, ввалился в телегу.

– Гони!

И я погнал. Первые метров сто, наверное, сгоряча и от бешеной тряски по луговым кочкам казалось, что мы несемся, как буря. Я лупил лошадей кнутовищем, больно подсакивая на коленях, а Сашка, вцепившийся в пулемет, все кричал:

– Гони!

Башня, когда мы вынеслись на луг, сразу выросла над нами, надвинулась, совсем красная от вспыхнувшего солнца. Зато лес – точно отнесло его еще дальше. И тут появилось чувство, одновременно у обоих – мои и Сашкины глаза встретились, – что нам уже известно, сколько секунд осталось вот так скакать. Очень ясное, точное чувство, будто кто-

то стал отсчитывать эти секунды вслух. Мы вроде уже видим себя оттуда, из красной высокой башни: беззащитно, жалко ползущую по лугу телегу; видим, как немец подводит пулемет, сейчас ударит... Хряснуло под нами, телегу перекосило, но мы еще катимся, подминая последние секунды. И тут лошади, точно споткнувшись, обе разом грохнулись прямо под нас, закрытые взрывом, а телега еще пролетела полкруга и перевернулась, вышвырнув нас. (Я, пока летел, все время помнил, где тяжелый пулемет, а где моя голова...) На нас навалились взрывы. Меня подбросило, оторвало от самого себя и опустило в звенящую немоту. Оттуда, как из-за толстого стекла, я смотрю, как медленно, страшно медленно ползет Сашка. Я вижу, что сделалось с его ногой, а он не понимает, торопливо отталкивает от себя землю красным дрожащим обрубком, поливая кровью траву. Сапог и то, что в нем, волочатся на длинной штанине далеко сзади. Глаза огромные, недоумевающие, ждущие, что сейчас, сейчас он что-то узнает! Я неловко сдираю с себя немецкий пиджак и ползу следом по кровавой дорожке, ловлю и не могу завернуть в пиджак то, что осталось от ноги. А *оно* подергивается в моих ловящих руках, уползает, как испуганный зверек. Кажется, я слышу пронзительный крик этого зверька, с торопливым дрожанием уползающего по красной дорожке...

...Тот, кто был хотя бы однажды ранен или контужен, уже не прежний человек. Он уже ощутил, как это будет. До этого лишь зная, что смертен, а теперь – ощутил.

Я ходил по лагерю и всем улыбался. Обнаружилось, что быть смертным очень весело, что это дает массу преимуществ.

Во-первых, все начинают тебя замечать и любить. Раненый среди партизан – самая уважаемая личность, настолько всеми замечаемая, что человеку с непривычки делается неловко и он побыстрее старается избавиться от бинтов, костылей, чтобы снова стать как все. (Правда, случалось и обратное: кому-нибудь понравится носить бинты, как эполеты, но тут-то его и подстерегает самое ужасное – вдруг отхлынет от него теплая волна, он еще тянется вслед, а там уже недоверчивые усмешки, презрительное безразличие...)

Ну, а во-вторых, смертный – это взрослый, равный всем. (Бессмертны только дети.) Сразу приблизиться к ним, взрослым, – это стоит бессмертия. Туда, где все, где Глаша...

Когда меня привезли, глухого, вялого от шума в голове и тошноты, Глаша подбежала к моей телеге. Вдруг увидел на низком плывущем сером небе ее синие глаза – наклонилась надо мной. Уже прошло много телег с убитыми, ранеными, и она появилась надо мной, плачущая. Бежала к убитому,

мертвому, а тут увидела неловкую слабую улыбку живого, на радостях она его поцеловала, живого (где-то возле глаза), и, кажется, только потом сообразила, что поцеловала меня. Такое потрясение, наверное, изобразило до этого вялое от тошноты мое лицо, что Глаша тоже отшатнулась по-девичьи возмущенно, но тут же улыбнулась и теплыми пальцами погладила поцелованное место, оставляя его мне.

Через три дня я уже ходил по лагерю: глупо лежать, когда столько добрых, ласковых улыбок можешь собрать! Ходил и собирал, как грибы. Но я искал Глашину, а ее не было. Целую неделю Глаши в лагере не было. Несколько раз издали видел Косача. Он меня снова не замечал. А меня еще сильнее привязали к этому человеку тот стыд, восторг, ужас перед непоправимым, которые я испытал возле речки.

Сашку, умершего от ран, хоронили в лесу у дороги. Косач стоял с опущенным тяжелым взглядом, незнакомо сутулясь. Салюта возле лагеря давать не положено. Косач бросил вместе с другими горсть земли, а комочек задержал в пальцах и шел с ним, я видел, до самого лагеря...

Я ходил на поляну, сидел там подолгу, глухой, одинокий, смертный. Я уже не слышал сухого дождя кузнечиков и только смотрел на их беззвучные красные вспышки. Масштабы незаметно смещались, и вот я уже среди красных взрывов, повторяющих пульсирующий в голове грохот. Вкрадывалась и начинала расти тревога: а что, если в лагере или рядом уже идет бой, а я сижу здесь, глухой, и не знаю? Что-то измени-

лось в мире резко, угрожающе, один ты не знаешь. Если бы кто увидел, как я возвращаюсь в лагерь – осторожно, с оружием на изготовку, – решил бы, что хлопцу мало настоящей войны, ему еще и поиграть в нее хочется.

Однажды уснул, угревшись на солнышке, по-осеннему мягком, глядящем, уютно устроившись меж высоких, как подлокотники кресла, корней толстеного дуба. Открыл глаза – Глаша! Стоит и смотрит в упор. Я уже открыл глаза, а ее синий взгляд даже не дрогнул, лицо строгое, почти суровое. Наконец заметила, что я проснулся, что-то сказала и села к дубу, в соседнее «кресло» с корнями-подлокотниками. Откинулась лицом к солнцу и замерла с закрытыми глазами, только веки и ресницы мелко-мелко дрожат над плавающей слезой. Глаша в немецком свитере, с открытой, еще больше похудевшей шеей, юбка у нее по-партизански поверх синих брюк, заправленных в сапожки.

Но заметно, что сама она себя не видит сегодня, не думает, какая она, ей все равно.

Что-то сказала, не открывая глаз. Не помнит, что я оглохший, не слышу? Или ей все равно, услышат или нет, что она говорит? Я не слышу, зато поговорить рад. О Косаче, конечно. Как еще я могу отблагодарить ее за то, что пришла, сидит со мной вместо того, чтобы его искать, быть возле него?

Я знаю о Косаче конечно же больше, чем она: для женской любви все эти истории, возможно, не столь важны, как для мальчишеской. Вот эта история, как Косач появился в лесу

и с ним еще семеро военнопленных, а их повели расстреливать как шпионов, подосланных. Сашка ругался и плакал от обиды и злости. Костя-начштаба все просил покурить (и когда вели и когда яму копал), остальные будто не верили, что это всерьез. А Косач вдруг громко сказал из наполовину вырытой могилы:

– Когда тебя буду, не скули! Договорились?

Громко сказал (все его слышали), но неизвестно, кому это адресуя. (Не знаю, смог бы он сам объяснить, что имел в виду. Какая-то горькая затаенная мысль вообще, а не упрек или угроза. Не мог же он знать, что вот сейчас начнется бой: в двухстах метрах появятся немцы и он, Костя, Сашка в этом бою покажут себя так, что через несколько месяцев Косач станет командиром роты, а потом и отряда. Странно только, что их уже поставили под расстрел, но, когда навалились немцы, тут же выдали им оружие.)

Я все говорил, говорил, и все про Косача и про наш с Сашкой бой возле речки, и во всем Косач был у меня прав, потому что он и себя не щадит, не жалеет. Глаша, казалось мне, внимательно и согласно слушала, хотя не открывала глаз. И вдруг произнесла:

– Замолчи! Дурачок.

Я это по губам ее и по гневно глянувшим глазам прочел.

Поднялась и пошла через поляну, как и в тот раз. Что-то у них с Косачем произошло! Я был убит этой догадкой. Так ведь хорошо складывалось, так стройно. Куда же мне, за кем,

если они уже не вместе? Без нее для меня теперь и он не весь. А без него эта поляна и наши встречи совсем другое что-то, о чем я не готов подумать прямо: я так привык к удобной уверенности, что мы сюда приходим, чтобы Глаша вслух о нем могла думать, а я помогать ей в этом...

Бой начался сразу и неожиданно близко, даже не за речушкой, за которой проходила насыпь разрушенной, недействующей железной дороги, а на нашей стороне, почти в лагере.

Мы шли по соснячку, пахнущему хвоей и летним песком. Глаша, трогая ветки, исколола запястья и теперь облизывала их жадным смешным языком. И вдруг застыла, вопросительно и моляще глянула на меня. «Стреляют!» – сразу прочел я. Рукой показала где.

– Сильно?

Она закивала.

– Автоматы?

«Да-да!»

Значит, совсем близко.

Взрывы я слышал сам, как-то всем телом. Наверное, мины. А если до гранат сразу дошло, плохо дело!

Глаша слушает бой и смотрит на меня, ждет, точно от меня зависит, чтобы не было того, что уже есть. И надо было мне именно сейчас оглохнуть: глухой, как и слепой, – всему открытый, неловкий, беспомощный. Ты, как в клетке, пойман, и каждый может подойти и рассматривать. Немцы дол-

го рассматривать не будут...

Глаша схватилась двумя руками за мой локоть, по ее вздрагивающим пальцам чувствую: застреляли совсем близко, вот... вот! Винтовку я зарядил, держу наготове, осматриваюсь, но при этом я еще помню, думаю и про то, что иду под ручку с девушкой и это сейчас увидят, те же немцы увидят. Еще хуже (так и подумалось: хуже!), если увидят наши зубоскалы. А вдруг Косач?

Пальцы на моем локте сжимаются, вздрагивают от близких выстрелов и взрывов, я вполголоса уточняю:

– Пулеметы? Автоматы, да?

Глаша глазами показала вверх. Э, даже самолеты! Значит, блокада, не меньше. Теперь главное – к своим попасть, не оторваться, не остаться одним. Глаша не то ведет меня, не то висит на мне среди неслышных мне выстрелов. В голове у меня свой шум, грохот, пустой, бессмысленный. Мы стараемся так обойти стрельбу и крики (потом Глаша говорила, что и голоса немецкие слышала, команду), чтобы попасть в лагерь. Все правее забираем, чтобы не нарваться, чтобы зайти в лагерь с обратной стороны. Но сколько мы ни идем, ни бежим, бой все не остается позади. Глаша показывает, что он впереди, сбоку, кругом. Я уже злюсь, наверное, путает, где стрельба, а где только эхо. Оторвал ее пальцы от себя и показал, чтобы шла сзади: еще, еще больше отстань! Я направился прямо к лагерю. Оглянулся, Глаша послушно брела сзади, виновато, робко улыбнулась. Я невольно ей ответил, и она,

как прощенная, тут же догнала меня. Снова обхватила руку. Что-то менялось и уже изменилось во мне, между нами. Я себя теперь другим видел, и этот другой уже не церемонился: он спасал Глашу, теперь это главное, а смущаются, стесняются пускай другие!

Внезапно сосна, к которой мы подходили, прямо перед глазами нашими брызнула белой щепой, немо и страшно, точно изнутри взорвалась. Глаша уже упала и меня за полу пиджака тянет к земле. А сосны взрываются – белые клочья, точно пена, вырываются из-под коры. Разрывные пули! Но откуда бьют, не понять.

(Когда-то Сашка о таком рассказывал, но там пена была красная, и я будто сам это помню – красное, вспененное. Они брели с Косачем в пыльных колоннах сорок первого года, и вдруг выскочил к дороге заяц, немцы-конвоиры азартно, весело застреляли по нему, а заодно и по колонне. Перед глазами у Сашки, у Косача, вот так брызнув красной пеной, взорвался затылок человека, который шел впереди них.)

Бьют из березнячка, что метрах в ста от нас белеет за стволами сосен. Я толкнул Глашу, показывая, чтобы уползала, а она смотрит, будто я и в самом деле могу что-то изменить в целом мире.

В белой березовой стене, как бы просочившись, появились темные пятна людей. Они отклеиваются от белой стены и падают, отклеиваются и падают, как под немым пулеметом. И тут же снова поднимаются, растягиваются в цепь.

Глаша с земли смотрит на меня, глаза большие, незащитно-синие, голову приподняла, вот-вот лицо ее тоже взорвется. Красным.

Деревья все брызжут белой щепой в немом ужасе, я ногами надвигаюсь на Глашино лицо, показываю ей свирепой гримасой, чтобы уползала быстрее за поваленную высохшую ель. И все боюсь, что лицо это, обращенное ко мне, взорвется красным, вспененным. Вдруг начинает представляться, что только лицо, огромные синие глаза – Глаша, а ее торопливо уползающее тело – это кто-то, схвативший ее и волокущий, и оттого такой ужас, мольба в этих глазах.

Немцы прошли совсем близко от осыпавшейся, сухой ели, за которой мы лежали. Я даже видел, как ближайший к нам (под каской, в пятнистой плащ-накидке) посмотрел на поваленную ель и сбился с ноги, наверное, подумал, что надо заглянуть за нее или прострочить из автомата. Казалось, даже патрон в моей винтовке пошевелился, такой это был момент. Узкое молодое лицо еще какое-то время было повернуто в нашу сторону, но он не застрочил и не подошел...

А мы, когда их не стало видно, вскочили на ноги и побежали. Бежать было бессмысленно и даже очень опасно, мы не знали, что, кто перед нами окажется через пятьдесят, через сто метров, но в нас прорвалось копившееся все эти минуты чувство, желание быть как можно дальше от того места, где ты сейчас. Но вот опасность перестала напирать, давить в спину, зато встала поджидаяще впереди...

«Постоишь – беда догонит, побежишь – напорешься на нее!» – это Рубеж любил повторять, Тимох Рубеж – смешной, странный человек, с которым мы встретились через два дня... В нашем автобусе никто его не помнит, они его не знали, Рубежа. Сошлась моя дорога с его на каком-то небольшом отрезке, а дальше потянулась только моя, а его оборвалась. Наверное же, и кроме нас с Глашей его помнит кто-то, где-то (семья у него была), но все равно такое чувство, что из живущих только я да Глаша знаем, что он был, и пока мы его удерживаем в себе, это правда, что он был.

Странно, что людей, которые сейчас в автобусе, я воспринимаю как посредников, через них я общаюсь, как с живыми, с теми Костей, Зуенком, Ведмедем, которых знал, видел много лет назад. И Костя-начштаба, вот этот шумный, смеющийся, и Косач, молчащий всю дорогу, и Столетов – все они как бы прямо оттуда, из двадцатипятилетней дали. Странно, когда память вот так вдруг обретает плоть, реальные голоса... Зрячие должны напрягаться, чтобы в сегодняшнем увидеть того, кто больше четверти века назад был Косачем, Зуенком, Столетовым, Костей-начштаба. А мне и усилия не нужно, только тех, прежних, я и вижу. А сегодняшние лишь подтверждают, что все – правда.

... Глаша сидит на корточках, привалившись к дереву. После сумасшедшего бега на щеках ее пятнами растекаются бледность и румянец, а в немигающих глазах темный испуг. Я стою над ней, сушу на своем лице пощипывающий пот и

смотрю сразу во все стороны. Глаша показывает, что стреляют везде, кругом.

Да, в лагерь нам не проскочить. Да и нет там никого, раз такое творится.

– Удивится Косач, где ты, – говорю я.

Глаша потянула книзу серенький свитер, сняла с носка сапога березовый лист, рассматривает.

– Осень уже, – сообщили ее губы и посмотревшие на меня глаза.

И я взял у нее пожелтевший, но еще мягкий, живой лист, точно она дело говорит и нам сейчас это важно.

Если началась действительно блокада, значит, все это – стрельба, самолеты – сейчас уже и там, где мама, сестрички. Хорошо, если догадаются сразу уйти на «острова», в глубь болота. Деревня наша там и в сорок первом и в сорок втором пряталась.

Глаша смотрит на меня и соглашается с тем, что я думаю. Фу, да я уже вслух думаю! Разговариваю в голос, не замечая того. Продолжил как ни в чем не бывало:

– Там, в своем лесу, я на немцах кататься буду как только захочу. Там не достанут. А схлынет, доставлю тебя...

Я не произнес: «Косачу». Ее взгляд мешает мне произносить это имя. Раньше помогал, требовал, а теперь почему-то мешает.

Мы снова идем через лес, и снова Глаша показывает, где стрельба гуще. Свернули к болотцу, зеленому, с полегшей

длинной травой. Я набрал в пилотку воды и, подняв над лицом, ловлю губами солоноватую от пота струйку. Глаша пьет с ладошки.

— Есть хочешь, — догадался я. Она быстро кивнула и глянула по-детски, точно я сейчас достану с дерева и дам ей. Черт, даже сумку свою в лагере оставил, хорошо еще, что винтовка да граната при мне. А Глаша совсем налегке, хоть бы для виду Косач дал ей какой-нибудь карабин. Теперь пришагаем к моим односельчанам, а там решат, что я просто с девушкой, — невесту привел, здравствуйте!.. Убьют немцы, подойдут и будут рассматривать нас на земле.

Я отнял у Глаши свой локоть, для этого сделал вид, что мне надо вернуться на просеку, посмотреть.

* * *

...Автобус наш дремлет. Глаша, наклонившись, пошарила в сумке, подала Сереже бутылку с водой. Сказала строго:

— Не облейся.

Теперь смотрит в окошко. Я ощущаю ее несвободное дыхание, и кажется, что вижу синий мазок скошенных глаз, который и сзади Косачу, наверное, виден. Косач за спиной у нас. Мы едем, чтобы встретиться. На встречу с самими собой едем.

А ведь вы, Флориан Петрович, обязаны партизану Флере, самонадеянному, сердитому, глухому, в обвислых немецких

обносках, обязаны тем, что вышли сюда, с Глашей вышли вот сюда... Порой я совсем со стороны вижу того Флеру – себя восемнадцатилетнего. Точно не во мне он, а там остался. И порой кажется, что мы с Глашей все идем за ним, подчиняясь его сердитым знакам, а он, загребая листья, иглицу тяжелыми сапогами, то пропадает за деревьями, то появляется из-за них неширокой, худой спиной. А ему еще про мать надо думать, про сестричек. Несет, прижав локтем, свою жалкую, черную от нестираемой могильной сырости винтовочку, будто она и в самом деле всем нам оборона.

* * *

...И тут мы увидели людей. Сразу заметно было, что это убежавшая в лес деревня и именно сегодня, может быть, два часа назад это случилось. Ни шалашей, ни ям, ни обжитых деревьев, на которых были бы развешаны одежды, тряпки. Люди как разбежались, а потом как собрались, сбились в кучу, так и толпятся, застыли, глядя в одну сторону: там догорают их деревня. Самих хат не видно, а только рвутся из-за высокого поля в небо разные по грузности и цвету дымы, еще не соединившись в сплошную стену пожара. Сначала люди, все как один, повернулись в нашу сторону, дернулись, готовые снова сорваться, бежать, но вид наш сразу успокоил их. Только женщина в белой чистой кофте, выделяющейся среди заношенного старья, бросилась к нам, что-то причитает,

кричит сердитое, показывая на мою винтовку чугуном, который зачем-то держит в руке.

Мы постояли с Глашей, как бы дожидаясь, чтобы у людей пропал к нам интерес, а потом тихонько пошли. Вдоль опушки. Не хотелось терять ее, отвоеванную у страха, снова углубляться в лес, брести вслепую. Нам еще поле – километра три открытых – пересечь надо, прежде чем попадем в «мой» лес.

До сумерек держались опушки и видели, как то в одном, то в другом направлении – ближе, дальше – вырастают новые дымы. А меж них, будто на гигантских трапециях, раскачиваются самолеты. Появляются то с одной, то с другой стороны. Такой блокады в наших местах еще не бывало – чтобы столько самолетов!

К вечеру небо затянуло, загрузило тучами. Дымы вверху расползаются, как под черным низким потолком, шевелятся там. Вдруг сыпанул дождь, а потом, как бы не то сделав, пропал, и посыпался сухой, секущий песок – ветер где-то поднял его и теперь швырял прямо из туч.

Зарева сначала растекались по горизонту, жались к земле, а отблески подпрыгивали к тяжелому подбрюшью неба. Потом зарева стали расти, расти и наконец вцепились в тучи, повисли на них. Небо снизу глаже и как бы тверже делается и все чернее, мрачнее в глубине, в своей толще. Громадные тени сшибаются, сталкивают друг дружку вниз. Ночи не стало. И не было дня. Мир сделался узкой и длинной, во весь

горизонт, амбразурой, освещенной изнутри...

Спотыкаясь, разрывая ногами картофельную ботву, мы быстро шли через поле, спешили к далекой, очерченной заревом, угольно-черной гребенке леса.

И тут увидели появившихся, бегущих по зареву, по горизонту людей. Далекие черные фигурки, словно сгорая, трепещут в светящейся амбразуре, пропадают, появляются новые и тоже проваливаются в черноту.

Люди снова выбегают, уже ближе, из черноты, бегут, толкая перед собой длинные тени. Все удлиняющиеся тени уже пронесли мимо нас, а сами люди только подбегают. Другие, левее, вырываются из неубранной ржи, кипящей, как от рыбы пруд, из которого уходит вода. Нас люди замечают в самый последний момент. Глаза человека спотыкаются («Кто это? Почему не бегут?»), и он пронесется мимо. Вслед посмотришь, снова увидишь глаза. Детские. Припавшие к плечу взрослых детские головки пролетают мимо нас, неотрывно глядя назад — на зарево.

И вдруг в той стороне поля, куда все уносится, что-то произошло. Длинно вытянувшаяся трасса пуль разрезала темноту, и стало видно, что оттуда тоже бегут, наверное, другая деревня. Увидев друг друга, люди растерянно приостановились и, может быть, закричали (а может, они все время кричат, мне не слышно). Заметались и бросились уже все вместе к лесу, из которого только что вышли мы с Глашей.

В лесу, куда наконец добрались мы, привычном, партизан-

ском, сразу сделалось свободнее. Лес нас признал, повлек, повел, по-собачьи облизывая дрожащим пятнистым светом наши лица, руки. Мы прошли еще с километр и сели отдыхать. Глаша нашла спиной дерево и тут же уснула, оставив мне одному и эту войну, и весь этот мир, — ей надоело. Я сидел, смотрел на ее капризно спящее лицо, как бы с вызовом спящее, и тихонько, как помешанный, смеялся, наверное, от усталости и от своей дурацкой глухоты.

Оттого, что нельзя было этого делать, а я тоже крепко уснул, беспечно спал (точно поддавшись детскому настроению Глаши), и ничего страшного не случилось, было очень весело проснуться и посмотреть на мир, в котором все осталось на месте.

Глаша одновременно со мной подняла с собственного плеча голову и открыла глаза, щедро добавив в мир синевы. Мы какое-то время смотрели друг на друга, всему открытые.

Все в лесу пропахло дымом: и папоротник, и хвоя, и твои рукава, и, наверное, холодные от росы Глашины короткие волосы, которые она оглаживает обеими руками. От дыма щиплет под веками.

Солнце, до этого невидимое за деревьями, внезапно, сразу ворвалось в лес, и тогда дым по-живому заворочался на неподвижно расходящихся спицах света.

Мы пошли по старому сухому бору, собирая чернику, уже подсохшую и насахаренную за лето солнцем. Надо побыстрее уходить отсюда, но Глашин голод нас не пускает, он та-

кой же смешной, по-детски капризный, как и сон ее, и мы, веселясь, точно жадному кролику морковку скармливаем с ладоней, подаем ему сладкие тепловатые ягоды. Кое-что достается и мне, но кролик такой радостно жадный, такой синеглазый, что трудно удержаться и не отдать ему.

Лес завораживает, держит; он какой-то испаряющийся, нереальный из-за этого синевато-оранжевого дыма, прозрачно растянутого на солнечных спицах.

В какой-то момент мы подняли глаза от кустов черники и обнаружили, что идем по кладбищу. Лесному, среди вековых сосен, старому, как сам бор, кладбищу. Время и лесные мхи так отфактурили трех-пятиметровые кресты, что в первый миг тупо подумалось: «... Тут и кресты растут!» А у ног крестов-великанов валяются, разбросаны давно сгнившие, похожие на маленькие тени великанов кресты-дети, кресты-младенцы. Кое-где остались разломанные оградки, чугунные и железные. Время срастило их со стволами толстых сосен. До самой сердцевины вросло железо. И мох пополз по чугуну, делая его как бы частью леса.

Вон как хоронили своих мертвых: на каждого такой крест, чугун! Кресты непривычные: не то староверские, не то католические...

* * *

...Да, Флориан Петрович, вот тут бы вам и лежать! Сва-

лила бы пулеметная очередь, обрызгав вашей кровью чужой крест, чужую оградку. И Глашу срезала бы в тот же миг... Флера и на этот раз спас. Со своей черной винтовочкой, уверенный, нелепый в своем обвисяющем немецком мундире, вел он вас на виду у немецкой засады, поджидавшей партизан на этом самом кладбище.

Теперь поменялись ролями: уже я веду того партизана с винтовочкой, продолжаю, так сказать. С какого только момента, с какого места? С того ли, как окончилась война? А может быть, позже я его сменил? Или, наоборот, раньше?

Как-то в Белграде наш турист подшутил в музее (пока я видел, я старался побольше ездить, смотреть, втайне подозревая, что делаю это впрок, *в запас*), так вот, наш турист привел свою землячку к стеклу и показал ей белый череп, мол, это Александра Македонского, когда ему было семнадцать лет.

– А где?.. – Женщина хотела узнать, а где взрослого Македонского череп, но тут же сообразила, рассмеялась вместе со всеми. А ведь действительно: где? Где мы меняемся ролями, местами, например, я с Флерой? Ведь я его совершенно со стороны вижу, помню, точно он – это кто-то другой, с кем я был, за кем я шел, кто меня выводил и спасал так же, как Глашу.

Да, это надо было видеть, как пошел петлять, хитрить Флера, когда из-за покосившейся оградки его взгляду открылся вдруг пулемет, одноглазо уставившийся на нас в

упор, а над пулеметом – неподвижный черный череп каски! А Глаша ничего не замечает, она идет впереди, трогает кончиками пальцев обомшелые, бархатистые тела крестов, в немом крике вскинувшие над ней руки. К ее великому изумлению, Флера стал вдруг махать рукой и кричать в ту сторону, откуда мы появились:

– Эй, командир, сюда все идите! Что мы нашли!

Станным голосом задержал, подозвал Глашу:

– Глаша, стой, что-то покажу...

Взял Глашу за плечо (рука дрожит, а лицо вроде смеется, но какое-то закаменевшее), повел ее в сторону, бормоча что-то бессмысленное. И снова крикнул:

– Эй, где вы там? Сюда идите!

Пересекли лесную просеку, оставляя кладбище позади. Глаша не понимает, что происходит, а он на нее не смотрит и не отпускает плечо (ей даже больно), идет все быстрее. И вдруг крикнул:

– Да немцы же, дура, беги!

И, схватив ее за руку, бросился в густой орешник.

А когда далеко отбежали и когда она поняла, что там было, Глашу стал бить озноб. Флера накинул ей на плечи пиджак с алюминиевыми немецкими пуговицами.

Рассматривая свой китель на Глаше, Флера сказал:

– Мама не знает, что я променял пальто. Последний раз зашел домой, она спросила, почему не принес его. Там воротник хороший был... А знаешь, давай вернемся на хутор.

Ты же хочешь есть. И я хочу.

* * *

...Когда мы бежали после кладбища, заметили на лесной поляне сгоревший хутор или лесничество, угли еще дымились. Картошку, и даже печеную, найти там можно.

Но я вдруг почувствовал, что глухота моя боится леса. Все представляются черный череп каски и уставившийся глаз пулемета... Главное, со мной Глаша, рядом!

Сказал заранее сердито (на тот случай, если станет проситься), что я схожу один, а она обождет в ельнике. Глаша смотрит умоляюще, но возражать не решается.

А мне уже нравится быть с ней вот таким, решать за обоих. Быть сердитым. У человека веселого, а тем более непрощено, навязчиво веселого, всегда вид оправдывающийся. За мрачность, за угрюмость никто не оправдывается. Наоборот, другие себя чувствуют виноватыми перед таким. К этому и привыкнуть можно, на всю жизнь понравится.

Нашел еду я скоро, прямо на дороге. Мне надо было перескочить эту дорогу, свежепобитую, растертую танковыми гусеницами. Я ступил на нее, а прямо в глаза мне – картонная коробка, такая неожиданная здесь, в лесу, точно из другого мира. Меня даже за дерево повело сначала, как от опасности. Но тут же бросился и схватил ее, как бы боясь, что видение исчезнет. Хватая коробку, подумал, что это впол-

не может быть ловушка-мина, а разрывая картон и откусывая ровненькую галету, лениво прикинул, что она, возможно, отравлена. Галеты очень сухие, но голодной слюны хватило и на вторую и на третью. Я жую на ходу, пьянея от слабого, какого-то далекого хлебного запаха, и успокаиваю свою совесть тем, что надо же хорошенько убедиться, что они не отравлены. У меня даже голова закружилась в придачу к тем привычным тошноте и шуму, которые меня сопровождают с момента контузии.

И я заблудился, вдруг понял, что иду наугад. А ведь я даже не смогу окликнуть Глашу, точнее, не услышу ее голоса. Забыл, совсем забыл, что я глухой!

Я испуганно, растерянно побежал и тогда совсем поверил, что не найду ее, и испугался еще сильнее. А ведь необязательно было оставлять ее и ходить одному. Не говори, что засады побоялся, просто понравилось быть, *как другие*, мрачным, приказывающим. Дурак, дурак, какое тебе дело до других! Им, другим, может быть, и Глаша не то, что для тебя...

Я почти налетел на нее – она издали меня увидела и побежала наперерез, встревоженная таким моим появлением: мчится человек, глаза белые, в руках какая-то коробка, точно украл и за ним гонятся!

– Ешь смело, неотравленные! – заорал человек.

Свет уходит из лесу, собирается вверху. По-ночному остро пахнет земля, хвоя. Мы шли весь день, а теперь устраиваемся, чтобы спокойно отоспаться. Галеты мы доели все,

к ним очень пошел кисленький заячий щавель. Сытости немного, но само сознание, что сегодня ел хлеб, успокаивающее: в хлебе всегда столько надежды!

Глаша сидит под темным деревом, обмякшая от усталости, накинув на плечи мой немецкий китель. Моросит, сыро. Я ломаю лапник, колючий, холодный, и ношу, складываю к ее ногам.

Дождевые тучи все опускаются над лесом, но от них становится не темнее, а светлее – по нему скользят ночные отблески пожаров. Это уже почти моя местность, до моей деревни километров тридцать.

Лапник я заготовил, теперь только перетащить его в густой ельник. Поставил винтовку возле Глаши и тащу тяжелую колючую ношу вслепую, спиной раздвигая густо растущие елочки: надо подальше, поглубже, от всех, от всего подальше. Глаша точно и не видит, чем я занят, сидит странно безучастная, и уже кажется, что не только от одной усталости.

Все готово. Я подошел, взял винтовку. Глаша снизуглянула на меня и подала пиджак.

– Дождь теперь не достанет, – говорю я. Глашины глаза, поднятые кверху, освещены, что-то в них вопросительное и совершенно мне незнакомое. Но что тут такого? Все обыкновенно: надо перебыть ночь, чтобы не налезть на немцев, не заблудиться, и вообще люди, как собаки, устали. Я рассказываю Глаше про то, как мы утром выйдем и к вечеру будем

на месте. Глаша смотрит молча. А как еще, если я глухой? Все обыкновенно.

Подошла к густому, как щетка, мокро поблескивающему ельничку, смотрит заинтересованно: что тут, как я тут намастачил?

– Сюда иди, я и крышу настелил, – говорю я и спиной проламываю колючую стенку ельника, а Глаша идет следом, руками отводя еловые лапки от лица. Я вижу ее лицо, глаза. Такая вдруг непонимающая, несообразительная стала, очень всему удивляется, будто впервые в лес попала. Кажется, выбрала для себя, какой ей быть, пока сидела под моим пиджаком, а я таскал лапник, и вот стала такой, ждущей, чтобы ей все показали, объяснили, самой ей невдомек, что тут и как. Очень точно почувствовала, какой ей надо быть с Флерой.

Вот оно, наше жилище: крыша есть, постель есть, все из лапника. Глаша стоит и не понимает, как и что дальше. Я наклонил ей голову.

– Заползай.

Волосы у Глаши мокрые и теплые – моя ладонь торопливо сообщила мне об этом. Глаша присела на корточки и поползла в темноту, под навес. Пополз в колючую темноту и я. Холодная рука Глаши коснулась моего лица – показывает, где мне лечь. Лапника у нас достаточно, чтобы и под бока было и накрыться, как одеялом. Приподнимаясь, вытаскиваем лапки из-под спины, взваливаем их на себя, разравниваем, исколотые руки наши встречаются и показывают: вот так,

тебе вот так будет лучше!

Еще лучше будет, если я сниму свой китель и мы сперва накроемся им, а уже поверху мокрыми колючими ветками.

Наконец все как надо: пружинящая еловая постель — под нами, тяжелый, плотный лапник — на нас, винтовка — между, а руки наши придерживают теплый пиджак поближе к шее.

Все в мире невероятно и резко, точно бинокль другой стороной повернули, отдалились. Все будет завтра, а сейчас только это, только мы. Молчание уже пугает, как улика, и я начинаю говорить, шептать. Конечно, об отряде, о Косаче. Он искал Глашу, он все думает, куда она исчезла... Глаша, чтобы лучше слышать, повернулась со спины на бок, лицом ко мне. Я ощущаю ее дыхание, почему-то прохладное. Или это у меня такие разгоревшиеся щеки? Но мне совсем не жарко, мне почему-то холодно. Еще энергичнее, как молитву, шепчу про то, как я ее спрячу на «острове», а потом мы найдем своих, отряд... (Глашина рука проверила, хорошо ли закрыт мой бок, не мерзну ли.) Я все бормочу свою молитву, рассказываю про Косача, про то, как он умеет быть строгим, неразговорчивым, зато когда скажет, то уж беги, делай, и каждый с радостью бежит и выполняет. И я понимаю, почему Глаша... Я и сам... Рука Глашина уже лежит поверх пиджака, я чувствую ее доверчивую тяжесть возле шеи. Так прекрасна в ней эта взрослая простота. Положила руку и ни о чем не думает, а я только об этом теперь и думаю, о том, что ее рука на мне лежит и что это значит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.